

— Сергей Николаевич, насколько я помню, ты как писатель никогда не отличался угодничеством перед властями, предержащими. Язывительная ирония отличала и в так называемые застойные годы, когда твои произведения говорили о многом правду без прикрас. А каким видится нынешнее наше бытие? Смеяться или плакать хочется тебе сегодня?

— Я бы сказал так: это смех с горем пополам. Вот, например, вчера мне привезли газету из Германии с материалом о пожаре, происшедшем в моей квартире почти год назад. Тогда наша пресса довольно широко об этом писала. Честно говоря, я уже забывать было начал, а тут — фото: стою я грязный, чумазый на фоне совершенно черной дыры. Эта дыра — моя выгоревшая квартира. А с другой стороны, не такова ли и вся наша сегодняшняя жизнь? Я ведь за что «пострадал»? Пытался отстоять собственность государственную, которая принадлежала Литературному институту и которую кое-кто хотел «пожарить». Был такой лакомый кусочек — Дом приезжего писателя. Его и хотели прибрать к рукам.

— А ты стал против?

— Да, да, именно.

— Стало быть, это мезь?

— У меня нет прямых доказательств, но что это был поджог, экспертиза установила. Дело о поджоге еще ведется, и даже расследование, кажется, продолжается.

— И это было такое испытание в начале твоей работы ректором?

— Представь себе. Я ведь сейчас только частично писатель, а больше администратор, хозяйственник. Такова неизбежность судьбы, видимо, на какое-то время. Но тем не менее у меня вышел новый роман в прошлом году, и сейчас я пишу, но институт стал главной заботой. Очень много сил отнимает. И я рад, что у нас все довольно благополучно, вплоть до бесплатного питания для студентов и преподавателей. Мне даже неловко об этом говорить на фоне разрушения высшего образования, особенно в провинции.

А с чего мы начали? С того, что купили на окна решетки. Ведь мы находимся в центре Москвы, здание института — памятник архитектуры. И мы сами запрятали себя за эти решетки. Понимаешь?

— Это тоже урок пожара твоего?

— Да, это урок жизни. Если хотим иметь компьютер, мы должны иметь решетку. И трагично деньги на нее, на стальные двери. Предельная неуверенность у меня по поводу этой собственности. Закрываем ворота на ночь. Дрожу за мемориальные доски Мандельштама и Андрея Платонова. У нас, несмотря ни на что, вскрыты в общежитии кладовку со спортивным инвентарем. Мелочевка вроде по старым деньгам: четыре мяча, двадцать кимоно, гантели, две палатки... Милиция-то этим заниматься не хочет — у нее нераскрытые убийства висят. Соглашен, это мелочь в государственном масштабе. А в масштабе гражданского? А как же правовое государство?

— Ну, чувствую, действительно хозяйственные заботы захлестывают. А все же пишешь. Между тем многие наши писатели совсем молчат сейчас. В нашей газете даже рубрика такая появилась — «Почему молчат писатели». А почему в самом деле, как думаешь?

— Я думаю, что среди прочего действует синдром безнадежности. Та художественная литература, которая была раньше, она вроде уже публичкой не востребуется. Пока на рынке литературы преобладают секс, детектив. Хотя, я уверен, мы вернемся к серьезной литературе. И уже возвращаемся. Я гляжу в метро из-за плеча — ба, роденкина, ты классика начала читать! Значит, уже припекло, значит, тебе уже совсем стало худо.

— Безнадежность эта касается и издательства? А может, некоторые просто растерялись перед непонятными вкусами и запросами публики?

— Ты знаешь, тут не так все просто. Конечно, огромное количество писателей привыкло к определенной конъюнктуре. Над

нами сейчас издеваются, что у нас десять тысяч писателей, и правильно издеваются. Потому что писателей настоящих гораздо меньше. А над настоящими писателями конъюнктура не властна. Я не представляю, чтобы, живи сейчас Федор Абрамов, писал бы он что-либо другое. Или Шукшин. Для вдовы Шукшиной многое изменилось, а для самого Василия Макаровича немного изменилось бы.

— То есть он остался бы верен себе?

— Я думаю, да. Понимаешь, возникает все-таки какая-то странная ситуация. Жену почему-то становятся рупорами писателей, рупорами покойных мужей. Я абсолютно не уверен, что голос Федосеевой-Шукшиной — это голос Шукшина. Как и го-

нему стою за социалистический выбор. Не отказываюсь от этого и сейчас. Хотя мне лично жилось тогда не очень-то легко. И уж ректором-то в те времена меня бы не избрали. Им оказался бы или ласковый любимец Союза писателей, или доверенное лицо ЦК КПСС. Но тем не менее сколько мы вместе с тем недостроенным социализмом потеряли! А что приобрели? Я много желчи израсходовал на критику бюрократии. Но если взять старую бюрократию и нынешнюю, молодую... О, та была по сравнению с этой детская бюрократия!

— Но вернемся к проблемам литературным. Ты возглавляешь сегодня, можно сказать, питомник молодых писателей. Готовишь будущее нашей литерату-

— Да, конечно, грустно. Она понимает, что русское образование там не нужно. Горько очень. Россия-то еще держится, мы еще готовим бесплатно переводчиков литовской литературы на русский язык, переводчиков с молдавского, с украинского на русский... А там меняют валюту и ставят барьеры.

— Разъединение по всем линиям идет, самый настоящий распад всех связей.

— Но русская литература, уверен, выживет. При ее-то огромных традициях! Наша литература и в мир ввела эту поразительную социальность. Наша романистика ввела. Наши классики. А кое-кто хочет теперь сделать из нашей литературы нечто подобное... рекламному проспекту. Все направлено на это —

Второе. Да, хотя бы то что бы то ни стало вытащить из нашей литературы некоторые имена. Слово занозы они кое для кого. Горький, Маяковский, Шолохов... Это как раньше вытаскивали, скажем, Мандельштама, Пастернака, Ахматову. Но не удалось же! Были они и остались в русской литературе как великие имена.

Так и здесь. Видишь ли, ты хоть на рога стань, а Горького из русской и мировой литературы не выкинешь. Что угодно делай, а не получится. Так же, как Энгельса, Ленина. Чем больше выбрасываешь, тем скорее они вылезают на поверхность.

Что происходит? XX век. Все поделено, все совершенно разделено, кроме славы. И вот здесь в русской литературе есть несколько заноз, которые, помимо всего прочего, мешают некоторым живым. Своим масштабом мешают действующим писателям. И вот надо их всячески принизить, дабы самим возвыситься. Горький — это же величайший драматург. Наконец, его личная трагедия. А его упрощают и вульгаризируют. Между тем он первый, например, заступился за Шостаковича в письме Сталину. Письмо это долго было в партийных архивах, а теперь его передали в Институт мировой литературы, в архив Горького. Да что говорить! Автор первого романа, написанного с позиций рабочего класса. Что, исчезнет когда-нибудь рабочий класс в этом мире? Да никогда. Так и Горький.

Плоский взгляд на историю, на революцию раньше у нас торжествовал, и сейчас он же торжествует. Только оценочные знаки меняются местами. Раньше был Николай Кровавый — теперь Николай Святой угодник. А на деле? К сожалению, по-человечески угодник, а политически — кровавый. 9 января ведь забыть невозможно. И это народ назвал его кровавым, а не большевики. Сам народ. Куда же от этого денешься?

У нас огромная Родина. Прекрасная. Так давайте ее строить. Давайте отбросим из нашей истории худшее, возьмем лучшее. Но хватит жить с головой, повернутой назад. Давайте вперед идти. А то получается хоббда слепых. Хорошо, что за последнее время на многое из нашей истории удалось по-новому раскрыть глаза людям. Только не надо одну неправду подменять другой. Я хочу сказать некоторой части нашей интеллигенции: хватит питаться трупам, ешьте «Сникерс».

Увы, интеллигенция наша далеко не с лучшей стороны себя проявляет в последнее время. Я говорю: если интеллигентностью является то, что происходит при этих правительственных тусовках, когда строгий, как ресторанный ассорти, набор телевизионных лиц в качестве одобряющего, аплодирующего фона приглашается к ступеням трона, тогда считайте меня мещанином. Потому что интеллигентом называться стыдно.

Вот и хотя бы ваш брат журналист. Очень горит у меня зуб на вас. Наверное, очередной мой роман будет о журналистах. Я сам выступаю по телевидению, веду там передачу, но вот заметил — отравляет телевидение. Надо делать от него разгрузочные дни. Скажите себе, например: в понедельник, среду и пятницу телевизор не смотрю.

— А как в институте среди преподавателей удается ужиться так называемым «правым» и «левым»?

— Великолпно уживаются. У нас прекрасные кадры, великая профессура. А объединяет одно общее дело. Когда перед тобой способный юноша, из которого надо сделать образованного человека, тут объединяются усилия ярой демократки, прекрасного литературоведа Маризэты Чудаковой с усилиями русофила и великопленного литературоведа Михаила Лобанова. В деле они уважают друг друга. Здесь есть дело! Именно дело, а не только разговоры.

Вот хорошо бы так же в нашем обществе объединить усилия всех разумных людей во благо нашего Отечества. Очень бы хотелось...

Беседу вел Виктор КОЖЕМЯКО.

Сергей ЕСИН

К власти пришли имитаторы...

Сергей Есин — заметная фигура в нашей литературе. Известность и успех пришли к нему вместе с публикацией романа «Имитатор» в журнале «Новый мир» на излете брежневского правления. Затем были «Временщик и временитель», «Соглядатай», «Стоящая в дверях», «Казус, или Эффект близнецов»... В начале прошлого года популярный писатель стал ректором Литературного института — был избран на конкурсной основе.



лос Елены Боннэр — это не голос Андрея Сахарова. Давайте вспомним этого великого человека. Часто говорят, что он великий разрушитель, великий диссидент. А вот неизвестно, как бы повернулось, будь он жив сейчас. Думаю, далеко не все он бы одобрил.

— Да, очень было бы интересно посмотреть сегодня на Сахарова. По-моему, и Солженицын сейчас в большой растерянности.

— Демократия, о которой было столько красивых и звонких разговоров, обернулась чем-то не тем. Согласись! Ведь демократия — это в первую очередь огромное число ответственных. Это традиция, это умение предать гласности любое дело. Демократия — это когда нет своих и чужих, демократия — это когда есть суд, гласный, скорый, честный. Если хочите, это и четкая система подчинения. Это и честный индивидуализм, но и четкий коллективизм мнения, с одной стороны. А с другой — это защита мнения меньшинства от большинства. Но у нас-то какое мнение меньшинства! Об этом даже смешно говорить.

— Мне все чаще вспоминается твой роман «Имитатор».

— В литературе, в политике, в государственной деятельности — всюду пришли имитаторы. Что значит имитация? Первый смысл — подражание, второй — подделка. Фальшивая подделка под демократию и бездумное, бессмысленное подражание западным кумирам.

Я каждый день вижу в переходе одного нищего слепого старика. Я за ним наблюдаю уже давно, много месяцев. Вижу, кто его утром приводит, кто вечером уводит, вижу, сколько денег он собирает. Вижу, как эти деньги у него отнимают, кто его пасет, кто вокруг него жирует. Это на одном из центральных, сердцевинных мест Москвы. Идет, грубо говоря, жизнь за счет слепца и нищего.

И вот это представляется мне символическим образом нынешней нашей России. Такая странная сегодня наша жизнь.

Знаешь, года два назад, когда была бурная эйфория, когда все выходило из партии, кричали, делали громогласные заявления, я утверждал, что по-преж-

рым. Интересно, что несут с собой эти молодые, о чем они думают, чем живут, на что надеются на них?

— Я часто в разговоре с ними повторяю: пока жив писатель, жива и нация, жива страна. Как только погибает писатель, погибает культура, она кончается. Мне безумно нравится одна черта в армянском народе: он прекрасно, четко понимает эту роль писателя. Недавно там такое внимание уделяется книге.

Меня сегодня нередко спрашивают: был ли конкурс в вашем институте? Да, был. В то время, когда на гуманитарные факультеты нигде не было конкурса, у нас — был, причем большой, серьезный. И из многих мест, несмотря на эти жуткие цены на билеты, приехали люди, съехались заочники, будут работать Высшие литературные курсы.

Все есть. Есть энтузиасты. И есть очень способные люди. Вот я читал этюды наших ребят-абитуриентов и скажу: есть вещи обжигающей самобытности. Есть несколько имен очень любопытных. И я многого от этих молодых людей жду. Много талантливых, по-настоящему талантливых!

Нет, русская литература не пропала. Многим все хочется повернуть, как в «цивилизованных государствах». Помню, эстонцы, латыши, вообще прибалты много толковали на I съезде народных депутатов Союза об этом. А где теперь их цивилизованность? Дожили до самого настоящего геноцида...

У меня девочка в институте была, из Литвы. Прекрасная ученица. И вот она бросила учебу и уехала. Почему? Потому что понимает: с нашим образованием там не проживет. А как, помню, рвалась в институт, беденькая! Дивный рассказ на конкурс прислала. Я набирал тогда курс. Мне сказали: девочка из литовской провинции, 18 лет, звонила, очень волнуется. Говорю: дайте ей телеграмму, что мы обязательно включим ее в конкурс, что мы ее возьмем... Потом она приехала — с такой великой радостью! И так радостно училась... А вот теперь уехала.

— Как грустно...

критика, печать, телевидение. Внешний имидж — вот что важно.

— Есть, есть такая ориентация.

— Но не привьется это у нас. Уверен. Глубока другая традиция, глубокая другая ментальность. Русский народ, если на то пошло, он, с одной стороны, наивный народ, но с другой — это один из самых раздумчивых народов. Все-таки в основе славянин идет за сердцевинной события. Я думаю, в нашей стране будут читать скорее «Кавказского пленника», нежели некие изобретения так называемого постмодернизма.

По поводу этого самого постмодернизма Солженицын сказал очень хорошо. Уничтожительно сказал обо всех этих ухищрениях: «Нашились писатели, кто увидел главную ценность открывшейся бесцензурной художественной деятельности, ее теперь ничем не ограниченной свободы» — в нестесненном «самовыражении» и только: просто выразить свое восприятие окружающего, часто с бесчувственностью к сегодняшним болезням и язвам и со зримой душевной пустотой, выразить, может быть, и не весьма значительную личность автора, выразить безответственно перед нравственностью народной и особенно юношества — порой и с густым употреблением низкой брани, какая столетиями считалась немислимой в печати, а теперь стала чуть ли не пропуском в литературу».

Нет, не пойдет у нас это. Как ни глянь, великая литература все-таки другая. И она не делается ножницами и клеем, как заповедует постмодернизм. Матерной бранью не делается.

— Я хочу затронуть такой вопрос. Наверное, трудно сейчас преподавать в Литературном институте. Особенно историю нашей литературы. Ведь вся она, можно сказать, насквозь пересмотрена. Уже думаешь: а была ли советская литература или ее не было? Вот ваш институт посыл имя Горького. А как сейчас? Не снайли?

— Вопросы большие. Ну насчет последнего слерва. Попытки такие были — снять имя Горького. Но я для себя твердо решил: если это произойдет, я тут же немедленно уйду из института. Подам в отставку.